

Игнатий Николаевич Потапенко

# Записки старого студента



Игнатий Потапенко

**Записки старого студента**

«Public Domain»

1889

## **Потапенко И. Н.**

Записки старого студента / И. Н. Потапенко — «Public Domain»,  
1889

«...Квартира представляла ряд маленьких, тесных комнат, похожих на клетки для зверей. Все они выходили окнами на второй двор, не отличавшийся чрезмерной чистотой; в каждую шла дверь из узкого тёмного коридора, каждая была обставлена настолько, насколько это было необходимо для того, чтобы существовать. В комнате полагалась кровать, стол, два стула; на стене вешалка для платья. В двух стояли комоды, за что взыскивалось рубля на два дороже...»

## Содержание

Не простит...	5
Пара сапог	13
Студент в рясе	20
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# Игнатий Николаевич Потапенко

## Записки старого студента (сборник)

### Не простит...

Квартира представляла ряд маленьких, тесных комнат, похожих на клетки для зверей. Все они выходили окнами на второй двор, не отличавшийся чрезмерной чистотой; в каждую шла дверь из узкого тёмного коридора, каждая была обставлена настолько, насколько это было необходимо для того, чтобы существовать. В комнате полагалась кровать, стол, два стула; на стене вешалка для платья. В двух стояли комоды, за что взыскивалось рубля на два дороже.

Одна комната была исключением. Она помещалась при самом входе направо, тогда как все остальные шли налево, и эта окнами выходила на первый двор, и было в ней не одно, а два окна; на них висели белые прозрачные занавески и подоконники содержались в примерной чистоте. В комнате были те же предметы, что и в других; но можно было заметить и значительную разницу. Кровать была отделена ширмой, стол был отполирован, перед столом помещался диван, правда, далеко не первой свежести, но всё же такой, на котором можно было сидеть. Был ещё маленький круглый столик, что-то вроде кресла, а в углу стояло приспособление для туалета, с зеркалом и с какими-то флакончиками. Что особенно поражало в этой комнате, так это необыкновенная порядочность общего вида: всё всегда было на месте, во всём виделась чистота, щепетильная опрятность, – словом, сразу можно было догадаться, что здесь обитает женщина.

Студент Чигринский всякий раз, когда входил в эту комнату, умилялся, сравнивая её со своей. Его комната помещалась в ряду тех, которые выходили окнами во второй двор. Она была самая миниатюрная из всех. В ней даже нельзя было поставить двух стульев, а стоял только один. Но что больше всего отличало её от этой, так это то обстоятельство, что у него во всякое время всё было вверх дном. Как-то уж так выходило, что не было никакой возможности установить порядок в его комнате. Хозяйка каждое утро прибирала в ней, но через какие-нибудь пять минут после её ухода вещи точно сами собой переменили места, и всё принимало такой вид, как будто уже с неделю хозяйская рука не прикасалась к ним. Может быть, это было свойство самого обитателя этой комнаты, переходившее на вещи. Но факт тот, что комната Чигринского на постороннего наблюдателя производила впечатление какой-то заброшенной кладовки, куда сложили разный хлам.

Если бы такой наблюдатель заглянул в комнату в то время, когда в ней сидел за столом или лежал на кровати во весь свой длинный рост Чигринский, то он и его причислил бы к хламу: до того странен был внешний вид этого человека.

В восемь часов вечера Чигринский сидел на диване, в комнате, окна которой выходили на первый двор. Он усиленно кусал нижнюю губу, от времени до времени вытаскивал откуда-то, точно из глубины шеи, клочья волос, составлявших его бороду, теребил их в разные стороны, запихивал себе в рот и вообще обнаруживал все признаки беспокойства. Он молчал, молчала также и хозяйка комнаты, Марья Петровна Лопатина. Она была не в духе, испытывала нервную дрожь и постоянно куталась в плед.

– Я не понимаю, – говорила она, – зачем вы здесь торчите? Если б вы могли хоть слово интересное сказать, а то ведь вы молчите так же, как и я. Господи, какая тоска!

Чигринский смотрел на неё с отчаянием. С ним это всегда случалось, что именно тогда, когда нужно быть умным, он оказывался дураком. Человек он был вовсе не глупый и при случае мог говорить интересно и даже остроумно. Но вот именно теперь, когда он много дал бы за

то, чтоб Марья Петровна улыбнулась, в голове его не оказывалось ни одной сколько-нибудь сносной мысли.

– Да ведь вы же всегда говорите, что я никуда не гожусь! – мрачно промолвил Чигринский. – Это только лишнее доказательство.

– Ах, это меня очень мало утешает!

Чигринский казался несчастным. Лопатина вообще не особенно жаловала его своей любезностью, но иногда ему казалось, – именно в такие моменты, когда у него в голове оказывались мысли и он становился занимательным, – иногда ему казалось, что она слушает его со вниманием и даже начинает относиться с симпатией. Но это случалось редко; большею частью ей бываю с ним скучно, и она искала другого общества.

А, между тем, Чигринский с каждым месяцем замечал, что Лопатина всё больше и больше привлекает его к себе. Она появилась на его горизонте с год тому назад. В первое время она показалась ему очень странной. Чрезвычайно живая, нервная, она поражала своими неожиданностями, нередко казавшимися неловкими и бестактными. На неё иногда находило такое настроение, что она вдруг начинала говорить всем то, что думала о них. Выходило резко и никому не нравилось. Наружность её не представляла ничего выдающегося. У неё было маленькое лицо с мелкими чертами; маленькие глазки отличались живостью и переменчивостью выражения, но, в общем, в этом лице было что-то необыкновенно привлекательное, что-то задорное, интригующее. Вот на эту-то удочку и попался Чигринский. Именно глаза её заинтереговали его, а затем она начала интересоваться его всё больше и больше.

– Слушайте, – сказала Лопатина, – я думаю, лучше будет, если вы уйдёте к себе.

– Что ж, если я вам так надоел...

– Ах, нет, не то... но мы с вами оба представляем две такие мрачные фигуры, что лучше нам провести вечер врозь...

– Я уйду! – промолвил Чигринский, – но ведь вы знаете, как мне будет грустно... Ведь вы знаете...

– Ах, знаю, знаю, знаю! – нервно заговорила Лопатина, – так ведь это же ничего не помогает. Вы влюблены в меня, да? Ну, это глупо!

– Почему же глупо? – спросил Чигринский.

– Да так, просто глупо, да и только! Вообще глупо быть влюблённым. Это детское занятие...

Чигринский встал и изобразил желание уйти. В это время в передней раздался сильный звонок, потом по коридору зашлёпала туфлями хозяйка, которая почему-то всегда была не одета и всю жизнь носила какие-то ночные костюмы. Может быть, это происходило оттого, что она ютилась в тёмной дыре, где можно было поставить только кровать, а все остальные углы отдавала жильцам. Ещё минута – загрохотал болт у двери, и затем в комнату протянулась рука, подававшая письмо.

Лопатина оживилась, вскочила с места, схватила письмо и с радостным криком открыла его.

– Вот кстати! – уже совсем, совсем другим голосом воскликнула она. – Оказывается, что сегодня вечеринка... Уж я не знаю какая. Вот тут написано на билете...

– Вам прислали билет? – спросил Чигринский.

– Да, вот посмотрите.

– Кто же это?

Он спросил это с каким-то новым оттенком в голосе: кажется, он ревновал Лопатину к тому, кто прислал ей билет.

– Право, не знаю! – промолвила Марья Петровна, но при этом взглянула на него искоса и заставила усомниться в том, что говорит правду.

– Значит, вы идёте?

– Гм!.. С кем же я пойду?

– Да, это вопрос! – промолвил Чигринский и отвернулся.

Может быть, он боялся именно тех слов, которые были тотчас же вслед за этим произнесены.

– Послушайте, вы должны идти!

– Я? – и он усмехнулся почти саркастически, причём этот сарказм, конечно, относился к нему самому.

– Конечно, вы... Что ж тут удивительного? Вы всегда говорите о ваших чувствах, а не хотите проводить меня на вечер.

– Да видите ли, Марья Петровна, чувства, это одно...

– А одолжение другое?

– Ах, нет же, нет, вы меня не так понимаете, но...

Он замялся. Решительно ему трудно было объяснить. Но Марья Петровна требовала, чтобы он, во что бы то ни стало, шёл с нею. Тогда Чигринский почувствовал решимость напрямик сказать ей, в чём дело.

– Слушайте, Марья Петровна, неужели вы думаете, что я могу проводить вас?

– Почему же нет?

– Да вы взгляните на меня.

– Ну-те, я гляжу.

– Да вы присмотритесь хорошенько.

Марья Петровна подошла к столу и взяла даже свечку и с слегка комическим видом начала тщательно осматривать его. Вдруг она рассмеялась.

– Однако... В самом деле! Но как это удивительно: я вас знаю столько времени и никогда этого не замечала. Да, это невозможно!

– Вы не замечали оттого, – с видимым смущением говорил Чигринский, – что вам это ещё ни разу не понадобилось. Какое же вам могло быть дело до моего костюма?

Да, только теперь Марья Петровна разглядела, во что был одет Чигринский... Она знала, что он был очень беден, жил скудными уроками, но не подозревала, что бедность его доходит до такой степени. Сюртук у него был до того потёрт и изношен, что в некоторых местах блестел, как хорошо вычищенный сапог. Подкладка иссеклась, и кое-где концы её, в виде чёрных ниток и тряпиц, выглядывали из рукавов и из-под полы; крахмальная манишка, воротничок, манжеты – всё это отстояло от стирки, по крайней мере, недели на две. Но самое ужасное, это были его узенькие, совершенно обтягивавшие ему ноги брюки, слишком длинные, внизу истёртые, оканчивавшиеся какой-то бахромой странного вида.

С глубоким смущением стоял перед нею Чигринский и мечтал о том, чтобы ему как-нибудь провалиться сквозь землю.

– Да, да, в таком виде нельзя, конечно! – говорила Лопатина. – Но послушайте, я хочу пойти на вечер! Вы должны проводить меня.

– Марья Петровна, – отвечал Чигринский, – ведь вы же знаете, как я хотел бы этого, вы знаете мои чувства...

– Ах, Господи! Зачем тут чувства! Тут надо сюртук и рубашку, а вы говорите о чувствах... Чтoб пойти на вечер, вовсе не надо никаких чувств.

– Но что мне делать! Что ж я могу поделать? – восклицал Чигринский.

– Почём же я знаю? Не могу же я доставать вам сюртук! Согласитесь сами, что это невозможно.

Чигринский начал задумчиво и нервно ходить по комнате. Лопатина уселась за стол, подпёрла голову руками и, видимо, испытывала страшную досаду. Его шаги раздражали её, и она, сидя к нему спиной и не подымая головы, нервным голосом промолвила:

– Слушайте, если вам так уж очень хочется ходить, то вы можете делать это в своей комнате.

Чигринский остановился, скорбно посмотрел на неё, потом направился к двери и вышел. Он прошёл по тёмному коридору, в котором горела прибитая к стене маленькая лампочка, дававшая, однако, очень много копоти и мало света. Он вошёл в свою комнату и зажёл свечу. Здесь было очень трудно шагать, но всё-таки он не мог обойтись без этого. Он не мог сидеть или лежать на месте, и его прогулка походила на какие-то безумные прыжки: сделав три шага в одном направлении, он должен был возвращаться.

«Странное существо женщина, – философски размышлял Чигринский, – до какой степени она зависит от каприза, от случайности... Не будь этого билета, ведь она спокойно просидела бы весь вечер дома!» Но затем он представлял себе Лопатину сидящую за столом в той позе, в которой он её оставил; воображал, какое она переживает негодование по отношению к нему, и ему казалось невозможным оставлять дело в таком положении. Он очень дорожил её расположением. «После этого она меня совсем возненавидит», – с отчаянием думал Чигринский.

Рядом, сквозь наглухо запертую дверь, слышалось лёгкое похрапывание. Соседнюю комнату занимал студент-техник, хохол, по фамилии Булыга. Он уже дня два не выходил из комнаты. Булыга был очень мнителен и вечно воображал себя опасно-больным; на этот раз он схватил лёгкую простуду и, по обыкновению, вёл себя так, как будто ему предстояла верная смерть.

У Чигринского вдруг мелькнула мысль попросить у него одежду. Он постучался в дверь.

– А что вам? – болезненным голосом отозвался Булыга.

– Можно к вам зайти на минутку? – спросил Чигринский.

– Зайдите.

Чигринский быстро перебежал из своей комнаты в соседнюю. Булыга лежал на кровати, натянув на себя одеяло до подбородка. На стуле, стоявшем у изголовья, были какие-то лекарственные пузырьки с рецептами и горящая свечка.

– Как ваше здоровье? – спросил Чигринский больше для того, чтобы как-нибудь обнаружить участие и этим расположить Булыгу в свою пользу.

– Скверно! – ответил Булыга. – Кашляю. Должно быть, туберкулы...

– Слушайте, не можете ли вы мне сделать одолжение?

Булыга уже после этих слов посмотрел на него испуганными глазами. Дело в том, что он был сравнительно с другими порядочно обеспечен. Он правильно получал из дому деньги и мог бы жить в гораздо лучшей квартире, но из экономии поселился здесь. Чигринский, положим, не любил брать взаймы, потому что не рассчитывал на исправную отдачу; но Булыге было хорошо известно, что у соседа никогда денег не бывает, поэтому он тотчас же заподозрил, что у него хотят просить денег.

– Ох, знаете, я просто не знаю, что делать, – сказал Булыга, желая наперёд отвести соседа от просьбы. – Вот уже неделя прошла, как должен получить из деревни, а ничего не шлют...

– Пришлют! – успокоительно заметил Чигринский, – вам ведь всегда присылают. Скажите, Булыга, ведь вы сегодня никуда не идёте?

– Куда же я могу выйти? Разве что-нибудь экстренное?

– Ну, что же может быть теперь экстренное, вечером? Так, значит, вы никуда не едете?

– Да что вам за дело до этого, еду я или нет?

– Да уж, значит, есть дело, коли спрашиваю. Тут, видите ли, такое обстоятельство... Мне надо пойти сегодня в одно место... приличное... А костюм мой, сами видите, каков.

– Так вы хотите в мой одеться?

– Да, если вы позволите.

– Ну, знаете, я этого никогда не делаю. Во-первых, вы длинный, а я короткий.



– Да это ничего... Тут главное, чтобы там, где полагается сюртук, был сюртук, а уж какой – это неважно...

– Нет уж, оставьте, пожалуйста! Терпеть не могу, когда мои вещи кто-нибудь носит.

– Так не дадите?

– Нет.

Чигринский ушёл к себе. Минут через десять после этого в дверь его постучались, и затем раздался голос Марьи Петровны:

– Слушайте, Чигринский, идите сюда.

Чигринский побежал в её комнату.

– Мне страшно хочется поехать, я должна пойти сегодня! Я бы сама пошла, но это ужасно далеко, я боюсь...

– Может быть, я проводил бы вас, а оттуда вы как-нибудь сами, что ли...

– Нет! как же! А вдруг я там не встречу знакомых... Нет, вы уж лучше достаньте как-нибудь себе.

– Я просил Булыгу, он не даёт.

– Ах, Булыга! Пойдите-ка, я у него попрошу...

– Не даст!..

– А, может быть, и даст...

Марья Петровна в этом случае припомнила, что Булыга тоже не совсем был равнодушен к её глазкам. Она отправилась к его двери и постучала.

– Ах, ты, Господи! Да ведь я же сказал, что не могу! – крайне недовольным голосом отозвался Булыга, по-видимому, совершенно уверенный, что это Чигринский возобновляет свои домогательства.

– Послушайте, Булыга, это я! – промолвила Марья Петровна.

– Ах, вы? то есть... Это вы? – воскликнул Булыга и, несмотря на то, что дверь была затворена, из вежливости встал с кровати.

– Ну, да, я! к вам можно?

– Да, пожалуйста. Только у меня не совсем тут в порядке! Впрочем, ничего, войдите.

Лопатина вошла к нему и тотчас же сделала кислую мину от сильного запаха лекарств. Она не рассчитывала здесь долго оставаться и потому сразу сказала:

– Слушайте, сделайте мне удовольствие: дайте, пожалуйста, ваш сюртук.

Булыга с удивлением посмотрел на неё.

– Сюртук? то есть, как же? вам сюртук?

– Ах, нет, конечно, не мне. Чигринский обещал проводить меня на вечер, понимаете? А у него сюртука нет.

– Гм... Так я уже говорил ему... У меня, видите ли, только один сюртук...

– Да вы как-нибудь посидите так.

– Гм... Как же так? Да оно, пожалуй... вам я не могу отказать... Возьмите, пожалуй.

Он стоял перед нею и, по-видимому, чего-то ждал, а она по рассеянности не сообразила, что так как у него сюртук только один, то он должен снять его с плеч, чего он не мог сделать при ней, и тоже ждала.

– Так уж вы, пожалуйста, выйдите! – сказал он, наконец, – я должен снять сюртук.

– Ах, да, в самом деле! Ну, спасибо.

И она ласково посмотрела на него, очевидно, в награду за его любезность.

Минуты через две после того, как она пришла к себе, появился Чигринский в сюртуке, который был ему короток, но, несмотря на столь торжественный костюм, лицо его выражало отчаяние.

– Ну, вы готовы? – спросила его Лопатина.

– Слушайте, я не знаю уж, как вам это и сказать... – промолвил Чигринский.

- А что ещё?
- Да ведь сюртука одного мало...
- Зачем же вам два сюртука? – сострила и засмеялась Лопатина.
- Не в том дело. А нужно ещё...

Она взглянула на Чигринского и только теперь увидела, до какой степени лицо у него смущённое.

– Господи! – воскликнул он тоном отчаяния и опустился на стул, – что я за несчастный человек! Ведь нельзя же так идти, сами согласитесь! Ведь вы же понимаете, до какой степени я желаю проводить вас!

- Ну, уж действительно... Знаете, ещё сюртук я могла достать вам, но...

Чигринский на это не сказал ни слова. Он запустил обе руки себе в волосы и мрачно смотрел вниз. Между тем, Марья Петровна в это время была уже совсем готова к вечеру. Её русые волосы были завиты, новая кофточка блистала белизной, появились бантики, брошечка, шпильки.

- Что ж мне с вами делать? – промолвила она, – послушайте, Анчаров дома?
- Кажется, дома, – раздалось точно откуда-то из-под полу.
- Попросите у него.
- Не даст. Мне не даст. Мы с ним в натянутых отношениях.
- Фу-ты, какой вы! Послушайте, да не могу же я, не могу я просить... брюки...
- Как хотите! – уже окончательно безнадежно ответил Чигринский.
- Он в четвёртом номере?
- Он перебрался в пятый.
- Пойду. Это невероятно, но я пойду!

И она пошла к пятому номеру. У Анчарова в комнате был свет. Она тихонько нажала ручку двери и отворила её.

- К вам можно?
- Ах, это вы, Марья Петровна! – радостно откликнулся Анчаров. – Чем могу служить?.. Марья Петровна совсем отворила дверь и остановилась на пороге.
- Слушайте, как это ни странно, но я прошу вас об этом... Видите ли, Чигринский должен проводить меня на вечер, а у него нет... Так не можете ли вы дать?
- Чего нет? Сюртука? – спросил Анчаров.
- Нет, не сюртука, а...

Марья Петровна замялась.

– А, понимаю! – догадался Анчаров и громко рассмеялся. – Так вот что вам нужно!.. Ну знаете, вы к нему очень милостивы. Ему бы я не дал, а для вас с удовольствием.

В то время, когда Марья Петровна так счастливо одевала Чигринского, сам герой впал в отчаяние ещё больше прежнего. В её отсутствие он встал, подошёл к зеркалу и тщательно осмотрел свои воротнички и манжеты; они оказались в безнадежном состоянии. Собственно говоря, в них недовольно прилично было даже показываться на улице. Но допустив мысль, что миссия Лопатиной у Анчарова кончится удачно, Чигринский уже никак не мог согласиться на то, чтобы она достала для него ещё что-нибудь. И тут у него мелькнула счастливая мысль: он стремглав вылетел из комнаты, пробежал через коридор и влетел прямо в тёмную кладовку, где помещалась хозяйка квартиры.

- Анна Ивановна! Ради самого Бога! – почти страстно начал он.
- О, Господи! – воскликнула хозяйка и вскочила с постели, страшно испугавшись его слов и тона. – Что такое там случилось?
- Да право же ничего... А тут дело вот в чём. Понимаете, надо проводить Лопатину на вечер, а у меня воротнички того... подгуляли. Так нет ли у вас?
- У меня? Да разве я ношу воротнички? Разве вы видели когда-нибудь?

- Ах, вы не понимаете. Может быть, у вас в стирке есть чьи-нибудь?
- В стирке? Так как же я отдам вам чужие? Ведь вы их испачкаете.
- Ну, вы потом опять их вымоете, я вам за стирку заплачу...
- Ох, Чигринский, вы меня подводите... Никогда я этого не делала, чтоб отдавать чужие

вещи.

- Так поймите же, поймите! Марью Петровну проводить надо...
- А вы небось влюблены в неё?..
- Ну, что там, где там!.. Просто надо любезность сделать...

Хозяйка разжалобилась и решила совершить преступление. Чигринский получил чистые воротнички и манжеты. Не прошло и пяти минут, как он, наконец, явился перед Марьей Петровной в совершенно обновлённом виде. Утомлённый нервным волнением, пока она возилась с последними украшениями своего туалета, он сел в кресло и положил ногу на ногу. Она приколола себе на грудь цветочек и обернулась к нему и вдруг, взглядевшись в него, ахнула.

– Слушайте, Чигринский! Это невыносимо! посмотрите, как у вас зевают подошвы! Ведь этак нельзя идти...

- В самом деле! – воскликнул Чигринский, взглянув на свои сапоги.

Нижние части подошвы отскочили от верха, и приподнятые сапоги имели вид крокодилов, с разинутыми пастьми. Чигринский ударил себя ладонью по лбу и промолвил:

- Эврика!

Затем он вдруг схватился и стрелой помчался в свою комнату. Здесь он отыскал пузырёк с гуммиарабиком и довольно искусно склеил подошвы.

- Что же вы сделали? – спросила его Лопатина.
- А уж это, знаете, моя тайна! – ответил Чигринский.

Затем они оделись и вышли на улицу. У Чигринского было очень жиденькое пальто; поэтому он прихватил у Лопатиной плед и прикрылся им.

Зал, в котором была вечеринка, стоял довольно далеко от их квартиры; они взяли извозчика, за которого заплатить пришлось Лопатиной, так как у Чигринского не было ничего; но вошёл он даром, потому что встретил множество знакомых студентов.

Когда они вошли в зал, ему показалось, что Марья Петровна начала старательно кого-то разыскивать глазами. Мимо неё проходили знакомые, кланялись ей, но не останавливались; но вот подошёл высокий, статный брюнет с красивыми глазами, очень чисто одетый, и, протянув ей руку, промолвил:

- А! Вы, значит, получили!
- Ах, так это вы? – спросила Марья Петровна, и лицо её просияло.
- Ну, разумеется.
- Какой вы милый!
- Я не мог лично зайти за вами, потому что должен был привезти сестёр. – объяснил

брюнет. – Пойдёмте.

Он предложил ей руку, и они пошли.

Чигринский слышал весь этот разговор, и уже после первых слов ему показалось, что сердце его стало биться медленней. Он стал у стены, заложил руки за спину и точно прирос к ней. Таким образом он простоял весь вечер. Ему казалось, что как только он отойдёт от стены, то сейчас же вся несообразность его костюма станет очевидной для всех. Изредка перед ним мелькала Марья Петровна, танцевавшая с разными кавалерами, но большею частью с красивым брюнетом. Но затем он совсем потерял её из виду. В третьей комнате приятно манил его к себе буфет, но он знал очень хорошо, что в кармане у него не было ни гроша. Но больше всего удерживал его от всякого движения страх, что ему изменит гуммиарабик.

Но вот уже давно прошла полночь и, по его мнению, пора было идти домой. Он чувствовал, что на его обязанности лежит проводить обратно Марью Петровну. Кое-кто уже начал

расходиться, публика поредела, и Чигринский, наконец, решился на подвиг. Он прошёл ряд больших комнат и вступил в буфет. Первое, что он увидел, это была Марья Петровна, сидевшая за круглым столиком с тем самым брюнетом, который прислал ей входной билет. Они весело разговаривали, Марья Петровна звонко смеялась, он пил пунш, а она ела сладкие пирожки.

– Ах, это вы! – воскликнула Марья Петровна, увидев его, и лицо её выразило такое изумление, как будто она никак не ожидала встретить его на этом вечере.

– Я хотел узнать, – нерешительно промолвил Чигринский, – вы скоро домой пойдёте?

– Нет ещё, но... но вы не беспокойтесь, меня проводят. Ведь вы меня проводите? – обратилась она к брюнету.

– Ну, да, конечно! Ведь вы же мне обещали это!

Чигринскому вдруг сделалось как-то необыкновенно скучно; он ни слова не возразил, поклонился и вышел.

Он бегом спустился по лестнице, схватил пальто и плед и побежал по улице. Почему он бежал, тогда как ему некуда было торопиться, этого он и сам не мог бы объяснить. Только теперь почувствовал он, как был смешон. Она – красивая, избалованная поклонниками, лестью, успехом, – да разве она может интересоваться им? Если до сих пор он казался ей бедняком, то теперь должен был показаться жалким.

Он пришёл домой и стал раздеваться. С омерзением снимал он с себя чужие вещи и, как только разделся, тотчас же лёг в постель и уткнулся лицом в подушку. Ведь он дал ей возможность в подробностях остановиться на его жалком положении. Если она до сих пор хоть каплю уважала его, то теперь, конечно, будет презирать. Лучше было бы, если б он просто отказался провожать её на этот вечер, – она, может быть, рассердилась бы, и это прошло бы, и он не испытал бы этого страшного унижения.

Он лежал неподвижно и с глубокой горечью представлял себе, как весело они там сидят за столиком и обмениваются взглядами.

И, в самом деле, он заметил потом, что Марья Петровна начала относиться к нему с каким-то обидным снисхождением. Женщина может простить всё, но она никогда не простит смешного положения.

## Пара сапог

Это было в 186\* г. В небольшом двухэтажном домике, с виду похожем на благоустроенный сарай, некогда выкрашенном в коричневый цвет, вследствие долголетнего невозобновления превратившемся в бурый, на улице Ленивке, Анна Карловна Фунт держала меблированные комнаты. Несомненно, что во время оно, устраивая это предприятие, Анна Карловна имела в виду извлечь из него выгоду, но если принять во внимание, что из её шести жильцов был только один действительно платящий, т. е. платящий как следует, каждое первое число, именно коллежский регистратор Свигульский, остальные же все были у неё в долгу, то можно усомниться в том, что Анна Карловна достигала своей цели.

Странная женщина. Жизнь её проходила в том, что она вечно ворчала на неплатящих и вечно грозила выселением, упоминая при этом околоточного, городского и других участковых властей, и при этом никогда никого не выселила. Очевидно, у Анны Карловны было доброе сердце, которое и тиранило её.

Событие, о котором пойдёт речь, случилось в конце мая, когда над московскими улицами носилась пыль, воздух был заражён всякого рода скверными испарениями, стояла духота и, вообще, жилось отвратительно.

Комната, которую занимали вдвоём Пиратов и Камзолин, была по размерам совершенно достаточна для того, чтобы в ней могли поместиться узенькая кровать и короткий диван, на которых спали жильцы. Диван был, как мы сказали, короток и отличался тем свойством, что как раз посередине его, из-за разодранной обивки выглядывало остриё сломанной пружины. Кроме того, поверхность его была необыкновенно волнистая, что, в общей сложности, служило достаточной причиной для кошмаров. По сравнению с ним кровать представлялась роскошью. Матрац на ней был очень твёрд, но из него не выглядывали пружины, так как их вовсе в нём не было. Она была достаточно длинна для того, чтобы длинный Камзолин мог вытянуться на ней во весь рост, и достаточно широка для того, чтобы плотно сложенный Пиратов мог разместить на ней своё богатое тело. И так как основным принципом их сожителства была справедливость, то они спали на кровати по очереди.

В комнате был ещё стол, один на двоих стул и что-то похожее на этажерку, до такой степени заваленное книгами и исписанной бумагой, что, казалось, вся эта куча лежала просто на полу. Главным украшением комнаты были многочисленные окурки, валявшиеся по углам, а также висевшая на гвозде пара серых, в достаточной степени потёртых, брюк, относительно которых оба жильца не могли определить, кому они собственно принадлежат, так как употреблялись они обоими в парадных случаях. Быть может, покажется несколько странным, что одни и те же брюки могли устраивать судьбу высокого, тонкого и длинновязого Камзолина и широкоплечего, толстого и короткого Пиратова, но человеческий ум превозмогает ещё и не такие затруднения. Брюки были сшиты не на Камзолина и не на Пиратова, а на какое-то неизвестное существо, представлявшее по отношению к ним обоим среднюю величину, поэтому они были несколько коротки на Камзолине и несколько длинны на Пиратове, – маленькие неудобства, с которыми легко примириться, даже не будучи философом.

Конечно, в жизни товарищей были разные моменты. Случалось, что в одно и то же время у каждого оказывалось по совершенно новому пиджаку; одно время в комнате фигурировал великолепный чёрный сюртук, из хорошего сукна. Но все эти вещи были случайны и очень скоро сплавлялись в кассу ссуд или просто на толкучку. Висевшие же на стене брюки были постоянным украшением комнаты. Они были совершенно необходимы, это было признано раз навсегда, и поэтому судьба их была обеспечена.

Камзолин проснулся на диване, Пиратов – на кровати. Разбудил их звон колокола, раздавшийся на соседней колокольне. Так как ни у одного из них не было часов, то этот колокол

каждый день заменял им и часы и будильник. Они ему верили безусловно, и он никогда их не обманывал, своим первым ударом показывая восемь часов.

– Надо вставать, – промолвил Камзолин, вытягивая свои длинные ноги таким образом, что они выходили далеко за пределы дивана и болтались в воздухе.

– Чёрт возьми, да, кому-нибудь одному надо вставать, – отозвался Пиратов. – Что касается меня, то я нисколько не расположен к этому...

– Я ещё менее, потому что эта проклятая пружина всю ночь вонзалась не только в моё тело, но, кажется, и в душу...

– Тем больше у тебя оснований стремиться к тому, чтоб расстаться с диваном...

– О, да, но лишь в том случае, если его можно переменить на кровать...

– Гм... я вижу, что ты не лишён вкуса... Но кровать и мне нравится...

– Увы! Я не могу сказать того же про диван...

– Но как же с экзаменом-то?

– Будем держать его.

– А сапоги?

– Сапоги? Гм... Это вопрос...

Прежде, чем вставать, надо было решить вопрос, кто наденет единственную пару сапог, которая была в их распоряжении. Эта пара сапог стояла тут же. Это была пара скверных сапог, со стоптанными каблуками, с заплатами на носках, с растянутыми резинками и вообще – пара сапог, которая имела все шансы остаться нетронутой, если бы её положить где-нибудь на улице. Но у неё было одно несомненное достоинство, именно то, что она всё же была пара сапог, и про человека, идущего в ней по улице, никто не имел бы права сказать, что он идёт без сапог.

Каким образом произошло такое странное обстоятельство, что в квартире, занимаемой двумя взрослыми людьми, была одна только пара сапог, об этом, к сожалению, слишком долго пришлось бы говорить, но несомненно, что на это были весьма основательные причины. Можно, впрочем, прибавить, что бывали времена, когда у Пиратова и Камзолина, у каждого, были сапоги, иногда даже совершенно новые.

– Ты в какой группе? – спросил Пиратов, сладко потягиваясь на кровати.

– Я в третьей, – ответил Камзолин, у которого не было никаких оснований потягиваться сладко, да не было и возможности, так как его длинные ноги выходили далеко за пределы дивана.

– Итак, дело ясно, – заметил Пиратов. – Сперва пойду я, а потом ты.

– Ой-ой-ой! Но ведь ты надуешь!

– Ну как же можно надуть в таком серьёзном деле! – промолвил Пиратов и обиделся.

Впрочем, обиделся он всего на две секунды и затем с добродушным видом начал вставать.

Едва только он освободил постель и его коренастая, тяжёлая фигура появилась на полу комнаты, как Камзолин моментально схватился с дивана и перескочил на кровать.

– Ну, а я поблаженствую! – промолвил он и вдруг вытянулся с такой энергией, как будто сразу хотел удлиниться вдвое, в чём, впрочем, у него не ощущалось никакой надобности.

Колокол, между тем, звонил не уставая, и каждый новый удар его напоминал о том, что минуты уходят. Приходилось дорожить временем: Камзолину, чтоб насладиться сном в кровати, а Пиратову, чтоб выдержать экзамен.

Пиратов начал одеваться. Он одевался быстро, потому что костюм его был очень несложен и прост, но на секунду он остановился, посмотрел на величественно висевшие на стене парадные брюки и подумал о том, представляется ли нынешний экзамен достаточно парадным случаем для того, чтобы надеть их. По-видимому, он решил в отрицательном смысле, потому что вот уж он совсем одет, а брюки продолжали украшать стену.

Захватив кое-какие тетрадки, Пиратов пожелал своему другу приятного сна и ушёл, а Камзолин завернулся в одеяло и заснул, причём уже не видел тех страшных снов, какие, в силу устройства дивана, обязательно снились ему через ночь.

Однако ж, принимая во внимание то обстоятельство, какой огромный соблазн для Камзолина представляла возможность поспать на кровати, после мучительной ночи на диване, Пиратов, выходя из квартиры, напомнил Анне Карловне Фунт, что Камзолина надо непременно разбудить через час. Это было несколько странно. Пиратов очень хорошо знал, что Камзолину незачем подыматься с постели до тех пор, пока он не вернётся и не принесёт с собою сапог. Тем не менее, он это сделал. Быть может, он сам недостаточно верил в своё обещание своевременно вернуться и рассчитывал в данном случае на необыкновенную изобретательность, какую всегда проявлял Камзолин. Одним словом, сделал он это на всякий случай, руководствуясь тем соображением, что лучше выдержать экзамен без сапог, чем вовсе не выдержать его.

И вот прошёл час. Анна Карловна, отличавшаяся всегда аккуратностью, уже хотя по одному тому, что она была немка, разбудила Камзолина. Камзолин схватился с постели, спросил – который час, и узнал, что уже около одиннадцати. В полной уверенности, что с минуты на минуту придёт Пиратов, он оделся во всё, что у него было, причём парадные брюки опять остались висеть на стене, и ходил по комнате чрезвычайно мягкими шагами, потому что ноги его были обуты только в носки, довольно сомнительного качества. Он уже выпил чай, который ему принесла Анна Карловна, посидел у стола, перелистывая толстый учебник и повторяя некоторые пункты для экзамена; по его соображениям уже было около двенадцати, а Пиратов не являлся. Камзолин начал страдать. Если бы это было несколько дней тому назад, то можно было бы отложить экзамен, но сегодня последний день для этого предмета, завтра профессор уезжает, и не пойти на экзамен, значит испортить себе всё лето.

Но Пиратов не являлся, и Камзолин начинал понимать, что он жестоко обманут. Он, разумеется, не приписывал Пиратову никаких злостных намерений, он представлял себе дело совершенно просто. Если Пиратов благополучно выдержал экзамен, то совершенно естественно ему с радости отправиться с товарищами в скверный ресторан «Шанхай» и за стаканом пива совершенно забыть о своём друге. Это в особенности правдоподобно для человека, который не очень-то привык с одного разу выдерживать экзамен. Пиратов был слишком тяжёл для этого, и у профессоров сделалось обычаем приглашать его по крайней мере, по три раза для проверки его знаний. Если же Пиратов срезался (что весьма вероятно), то так же естественно ему с другими товарищами отправиться в тот же «Шанхай» и выпить с горя. И в том, и в другом случае у него достаточно причин не думать о судьбе Камзолина.

Размышляя таким образом, Камзолин всё больше и больше приходил к заключению, что это так, да иначе и быть не может, и ум его усиленно занялся теперь изобретением способа всё-таки пойти на экзамен. Но каким образом это сделать? Ему могло бы придти в голову поговорить об этом с Анной Карловной. Случалось, что у неё находилась какая-нибудь старая пара сапог; могло быть также и то, что кто-нибудь из квартирантов оставался дома. Но дело в том, что все квартиранты были очень исправные чиновники, и едва ли на это можно рассчитывать. Из всего населения меблированных комнат, только у одного коллежского регистратора Свикульского можно было предполагать присутствие двух пар сапог, но коллежский регистратор, во-первых, очень презрительно смотрел на всех остальных квартирантов, а на двух студентов в особенности, и, во-вторых, был человек необыкновенно аккуратный, всегда запирал комнату и уносил с собой ключ.

Тем не менее, Камзолин всё-таки пригласил Анну Карловну и поведал ей о своём горе. На толстом, но несколько обрюзглом лице бесконечно доброй немки тотчас же явно выразилось искреннейшее желание достать Камзолину пару сапог, но тут же, на этом же лице, можно было прочесть и полную безнадёжность. Все чиновники ушли в свои канцелярии. Свикульский, по обыкновению, запер комнату.

– Разве вот мои возьмёте, господин Камзолин, – промолвила Анна Карловна, и при этом приподняла юбку и показала ему свои туфли, очень похожие на калоши.

Камзолин скрестил на груди руки и, осмотрев туфли, увидел полную невозможность воспользоваться этим странным произведением искусства. Во-первых, они были слишком велики, – Анна Карловна страдала отёком ног; затем форма их была такая странная, что, появившись в них, он обратил бы на себя внимание всего университета. Одним словом, это было невозможно, А, между тем, часы с будильником, висевшие в маленькой каморке, в которой жила Анна Карловна, показывали без четверти час, и с каждой минутой Камзолин рисковал опоздать на экзамен.

Камзолиным овладела досада. Вообще это был человек добродушный до последней степени, – но когда он представил себе, что ему придётся отложить экзамен на осень, то его взяла злость на товарища.

«Это уже слишком. – мысленно говорил он. – Можно быть небрежным, но не до такой степени. Я никогда не позволил бы себе поступить таким образом».

Сперва он ходил по комнате, потом это ему надоело, он бросился на диван, но сломанная пружина тотчас же напомнила ему о себе; он перешёл на кровать, лёг на спину и с бессильным негодованием стал глядеть в потолок.

В передней раздался хриплый звонок и произошло движение.

– А, – громко воскликнул Камзолин, – наконец-то!

И в полной уверенности, что это запоздавший Пиратов, он соскочил с кровати, растворил дверь и высунул голову в коридор.

– Это называется свинство! – выразительно крикнул он фигуре, которая появилась в полутёмном коридоре.

– А? – промолвила из темноты фигура солидным басовым голосом, какого никогда не бывало у Пиратова, – покорно благодарю!

Камзолин с недоумением остановился и, растворив дверь, начал рассматривать вошедшего, который, таща в руках довольно увесистый узел, направлялся прямо к нему в комнату.

– Да это что же? – воскликнул Камзолин. – Фу ты, да это вы, Назарьев?

– Ну, конечно, я. Я не понимаю, за что вы меня обругали?

– Это недоразумение, извините. Я вообразил, что это вернулся Пиратов. Вы что же, прямо из деревни?

– Да, как видите. Я проездом. Еду в Тверь; поезда не сходятся, приходится сидеть в Москве часов восемь, вот я и завернул к вам.

И гость, втащивши свой узел в комнату, снял пальто, сел на диван и, видимо, начал отдыхать.

Назарьев был товарищ Пиратова и Камзолина по гимназии. Но в университет он не пошёл, а стал заниматься своим маленьким хозяйством в деревне. Между товарищами никогда не было особенной близости, но они навсегда остались в хороших отношениях. Имение Назарьева было ничтожно, а семья, состоявшая из сестёр и многочисленных более или менее отдалённых родственников, была велика. Вот он и бился, обрабатывал землю и, вместе с тем, вёл ещё какую-то небольшую торговлю. Когда он приезжал в Москву, то не забывал товарищей и заходил к ним на часок.

С виду это был человек очень здоровый и крепкий. Его смуглое лицо, густо обросшее тёмными волосами, производило впечатление какой-то суровости, но когда он начинал говорить, то сейчас становилось ясным, что это выражение не соответствовало его намерениям; он оказывался мягким и добродушным.

Назарьев начал расспрашивать про Пиратова, про других товарищей, про дела вообще и про московские новости. Камзолин, во всякое другое время готовый принять его ласково



и внимательно, теперь отвечал рассеянно, и Назарьеву показалось даже, что он что-то имеет против него.

– Послушайте, я, может быть, не вовремя, так вы прямо так и скажите!

– Ах, нет, вовсе нет... тут совсем не то.

– А в чём же дело?

– Да это Пиратов всё. Вы же знаете, какая это свинья.

– Пиратов? Вот никак не ожидал. Мне казалось, что он человек порядочный.

– Да вы не подумайте чего-нибудь! – спохватился Камзолин, – он никакой подлости не сделал...

– Ну, признаюсь, ничего не понимаю...

– Да вы можете себе вообразить... представьте себе, у нас сегодня экзамен... и уж отложить никак нельзя... он пошёл держать, потому что он в первой группе... Пойдите, батюшка, вот мысль!..

Назарьев с изумлением смотрел на хозяина, который остановился перед ним и почему-то с радостным выражением в лице глядел на его ноги. Он делал это до такой степени выразительно, что гость невольно тоже наклонил голову и начал внимательно рассматривать собственные ноги.

– Что это такое вы там нашли? – спросил он.

– Нет, вы скажите: вы сколько ещё времени будете в Москве?

– Да ещё часа четыре осталось.

– Великолепно! Вы можете посидеть часа два без сапог?

– Не понимаю...

– Ну, вот, вы сейчас поймёте. Вы видите, что я без сапог. У нас только одна пара сапог, её взял Пиратов, по всей вероятности увлёкся и забыл обо мне. А меж тем сегодня надо быть на экзамене, хоть тресни. Ну, теперь поняли?

– Гм... значит, вы хотите надеть мои сапоги, так? Что ж, я ничего... Ну, а если вы тоже увлечётесь?

– Нет, что вы? Как же это можно? Ведь я же знаю, что вам надо ехать. Вы меня выручаете, и вдруг я сделаю такую подлость! За кого же вы меня принимаете?

– В таком случае извольте, – промолвил Назарьев, – только их надо почистить, а то они в грязи. У нас в уезде дождь шёл...

– Ну, вот ещё! где там! каждая минута дорога. Так снимайте же.

Назарьев снял сапоги, а Камзолин с необыкновенной быстротой надел их.

– Тесноваты! – промолвил он. – Ну, да это ничего, как-нибудь приспособлюсь. Так вот что, – поспешно прибавил он, – вы тут оставайтесь, ложитесь спать, делайте, что вам угодно, а я часа через полтора вернусь.

Он почти на лету подал руку гостю, оставшемуся в носках и ещё не в достаточной степени освоившемуся с своим новым положением, и, выбежав из квартиры, стремглав побежал вниз по лестнице.

Когда он вошёл в университетский двор, то встретил двух-трёх товарищей, которые, как он знал, были в одной группе с Пиратовым.

– Пиратов здесь? – спросил он, запыхавшись от быстрой ходьбы.

– Пиратов? – ответили ему, – ну, его поминай как звали!

– А что?

– Он срезался.

– Ну?

– Да, и закатился в «Шанхай»...

– Скотина! Я так и думал! – промолвил себе под нос Камзолин и пошёл дальше.

Было несколько странно, что сапоги у него, несмотря на совершенно сухую погоду, были в грязи, и притом они как-то слишком громко стучали, и он, благодаря тому, что узкие носки давили ему мозоли, ковылял в них. Но это всё было, разумеется, пустое. Он едва-едва захватил профессора, и достаточно было двух минут, чтоб положение его выяснилось. Это, должно быть, произошло оттого, что он не успел ещё перевести дух, и, кроме того, весь он был охвачен негодованием против Пиратова, позволившего себе поступить так вероломно. Он срезался...

Разумеется, из-за этого не стоило волноваться целое утро, снимать сапоги с приезжего гостя и тем больше бранить Пиратова. Не стоило также бежать рысью по улице и беспокоить профессора, который уже собирался уйти. Но надо же было выяснить. И когда он совершенно явственно убедил не только профессора, но и себя самого, что он не готов к экзамену, то махнул рукой и уже обыкновенной, неспешной походкой пошёл на улицу. Но он повернул не в том направлении, где находились меблированные комнаты Анны Карловны Фунт, а совсем в другом. Нужно было пойти сперва направо, затем завернуть в небольшой переулок налево, войти в грязный подъезд, подняться во второй этаж, чтобы очутиться в скверном ресторане «Шанхай».

Если бы явился вопрос о том, на что рассчитывал Камзолин, так смело отправляясь в трактир и не имея в кармане ни копейки, то пришлось бы сослаться на слишком исключительные обстоятельства, лишившие его возможности быть расчётливым и рассудительным. Человеку, срезавшемуся на экзамене и видящему в перспективе пренеприятную обязанность держать этот экзамен вторично осенью, было совершенно естественно направиться в трактир, и именно в «Шанхай», который был уже как бы предназначен для утешения скорбящих. Кроме того, у Камзолина был ещё такой блестящий пример, как пребывание в том же «Шанхае» Пиратова, у которого денег было столько же, сколько у него. Была и ещё одна мысль, которая могла объяснить его шаг: он имел полное основание злиться на Пиратова и желать безотлагательной встречи с ним, чтобы высказать ему горькую правду.

Когда он вошёл в большой, но несколько мрачный зал с низким потолком, с многочисленными чайными столиками, с хрипящим и свистящим органом, с долговыми половыми, носившими длинные белые рубашки, по-видимому, с той целью, чтобы на них легче было разглядеть бесчисленные сальные пятна, – когда он вошёл в этот зал и остановился на пороге, то, ещё ничего не видя перед собой, был сразу оглушён какими-то радостными криками, среди которых несколько голосов повторяли его фамилию. Тут он разглядел сидевшую за тремя соединёнными столами группу товарищей, которые все радостно приветствовали его и приглашали к себе. Удивительнее всего было то, что всех энергичнее и всех восторженнее приветствовал и звал его Пиратов, который, разумеется, был тут же. Всё это были срезавшиеся. Но они были так веселы, разговорчивы, добродушны и беззаботны, как будто все получили по пятёрке. На столах было несколько пустых бутылок, рюмок и стаканов и кое-какая, самая необходимая в таких случаях, закуска.

– Друг сердечный, Камзолушка! – произнёс Пиратов, встав из-за стола и направляясь к Камзолину с раскрытыми объятиями. – Говори откровенно, срезался?

Камзолин, имевший самое серьёзное намерение отчитать Пиратова, высказать ему несколько горьких истин, – вместо этого торжественно облобызал его и сказал, обращаясь ко всем:

– Срезался!

– Вот и превосходно. Ну, так присаживайся!

Камзолин присел, но при этом искоса посмотрел на своего друга и сожителя.

– Однако, Пиратов, – сказал он, – какая же ты, выходит, свинья!

– Я? За что же это ты так? А? – с искренним удивлением спросил Пиратов.

– Как за что? А сапоги?

– Какие сапоги?

– Очень скверные сапоги, но всё же... всё же это сапоги, без которых я не мог пойти на экзамен.

– Сапоги! Ах, я негодай! – и Пиратов изо всей силы ударил себя кулаком по лбу. – Камзолушка! Забыл, ей-Богу, забыл! Прости! Ты великодушен, – прости! Можешь вообразить, – когда я срезался, как это меня огорошило! Понимаешь, все обстоятельства жизни в голове моей перепутались... А тут компания в «Шанхай» идёт, ну, и я пошёл за течением, а о сапогах-то и позабыл... Но как же ты пришёл?

– Назарьев приехал, вот я его и ограбил.

– Он, значит, у нас?

– У нас. Я его спать уложил... Обещал скоро вернуться. Он сегодня хочет ехать, надо сейчас идти домой.

Но тут поднялись уже общие протесты. Было решено не пускать Камзолина. Было высказано основательное соображение, что если человек спит, то, значит, он счастлив и блаженствует, и никто не имеет права лишать его этого блаженства. Камзолин, по здравом размышлении, согласился с этим и остался.

Срезавшиеся очень скоро соединились с выдержавшими благополучно экзамен, и горе, смешавшись с радостью, дало в общем самые весёлые результаты. Излишне прибавлять, что Пиратов и Камзолин вернулись домой на рассвете, и что Назарьев в это время уже спал, благополучно заняв кровать и уступив товарищам на двоих диван с выглядывавшей из него острой пружиной. Его не будили. Пиратов разлёгся на диване, а Камзолин – на полу. Назарьеву было так удобно спать на кровати, и он так хорошо выспался, что на другой день он даже позабыл выбрать их.

## Студент в рясе

### I

Последние два курса мне пришлось прослушать в провинциальном университете.

Я рано освободился от урока, который держал меня всё лето в деревне, и приехал около 10 августа. Из товарищей ещё никого не было. Съезжались обыкновенно после 20. Было человек десять, отложивших экзамены на осень, но они очень редко попадались на глаза, потому что сидели в своих конурах и зубрили.

Доступных мне развлечений в городе не было никаких. Загородных садов тогда ещё не существовало в таком несметном количестве, как теперь, да они меня мало интересовали. Моим постоянным развлечением был театр, который ещё не открывал своих дверей для публики. В городе стояли жаркие дни, на улицах было пыльно. Совсем некуда было деваться. Поэтому волей-неволей приходилось постоянно торчать в университете, бесцельно блуждая по коридорам, с тайной надеждой, что из какого-нибудь угла выглянет знакомое лицо новоприбывшего товарища.

Но появлялись, понятно, всё только новые лица, большею частью очень юные, смотревшие робко и ступавшие нерешительно. Это были новички, явившиеся подавать прошения о зачислении в студенты.

Много было семинаристов, которым приходилось держать поверочный экзамен. Их легко было узнать по неуклюжей наружности, неловкости, неумению ступить. Они отличались также и по костюму. Большею частью они являлись в длинных чёрных сюртуках, которые остались у них ещё от семинарского кошта. Я не умел начинать знакомства. Они удавались мне только тогда, когда начинали их другие. Поэтому ни с кем из новичков я не познакомился. Но так как мне решительно нечего было делать, то я раза два забрёл в аудиторию, где производился приёмный экзамен, и от скуки слушал и смотрел. Здесь тоже я не нашёл ничего занимательного, и, по всей вероятности, в третий раз не заглянул бы, если бы не случилось одно обстоятельство, которое сильно заинтересовало меня.

Я был один в огромном вестибюле в то время, когда наверху производился экзамен новичкам. Не было ни швейцара, ни служителей. Я бродил из угла в угол, изредка посматривая на входную дверь, не войдёт ли кто-нибудь знакомый. И вот дверь отворилась, и появилась фигура, показавшаяся мне странной для этой обстановки. Это было духовное лицо, какого сана, – я не мог определить. На нём была длинная ряса, с широкими рукавами, тёмно-серого цвета. На голове чёрная поярковая шляпа, порядочно затасканная. Из-под шляпы свисали на плечи длинные прямые волосы. Длинная русая борода как-то вся скомкалась на сторону. Лицо сильно обросло, и я не мог определить, молод этот человек или стар. По-видимому, он только что был в дороге, потому что ряса его, и волосы, и шляпа, – всё было покрыто пылью.

Он вошёл и как бы с некоторым недоумением стал оглядываться во все стороны, словно искал живого лица.

Я был на другом, порядочно отдалённом, конце вестибюля. В первую минуту я остановился, посмотрел на него издали, но, заметив его растерянность, я решил пойти на выручку и сделал по направлению к нему несколько шагов.

Я подумал, что это, должно быть, родственник какого-нибудь новопоступающего студента-семинариста или, может быть, лицо, просто попавшее сюда по ошибке. С виду он походил на деревенского пастыря. Я приблизился к нему.

– Вам кого-нибудь нужно, батюшка? – спросил я.

Он, очевидно, раньше меня не видел. Когда я заговорил, лицо его прояснилось; он снял шляпу.

– Нет, – густым баском ответил он, – мне того... Мне никого не нужно, а мне бы надо узнать... Мне бы надо узнать, где тут экзамен производится...

– Экзамен? – спросил я с некоторым недоумением. – А вам зачем экзамен?

– Да мне надо бы тоже, того... Мне экзамен держать надо...

Тут уж я, по всей вероятности, весь превратился в изумление.

– Какой экзамен? – спросил я. – Разве вы... ведь это университет.

– Я знаю, – ответил батюшка, – я знаю, что университет... Вот именно университет мне и надо...

– Позвольте... Я не совсем понимаю. Вероятно, ваш родственник здесь какой-нибудь держит экзамен, и вы хотите его видеть?..

– Ах, нет же, – уже нетерпеливо произнёс батюшка, – это я сам должен держать экзамен.

– Но зачем?

– А видите, я подал прошение о приёме меня в студенты... Оно, конечно, дело непривычное, потому что я в рясе... Ну, так это ничего... Позвольте представиться: дьякон из села Богодуховского, фамилия моя Эвменидов... А вы студент?

– Да. Но я не знал, что духовные лица могут поступать в студенты.

– Да отчего же нет? Разве мы хуже других? Так, извините, где же тут экзамен держат? Я, знаете, опоздал маленько. Не рассчитал. Езды-то всех шестьдесят вёрст, на лошадях, знаете. Выехал чуть свет, а в дороге ось сломалась, пришлось починяться... Ну, вот и запоздал...

Я повёл его через длинные коридоры, потом по лестнице вверх. Но, показывая аудиторию, где производился экзамен, я делал это с глубоким недоверием; мне всё казалось, что тут есть какая-то мистификация. Но батюшка мой шёл очень твёрдо и уверенно и всё время по дороге выражал беспокойство, что экзамен уже кончен и ему не удастся выдержать его.

– А вы на какой факультет поступаете? – спросил я.

– Я, знаете, на математический...

Моё удивление после этого ответа возросло ещё больше.

– Вы, значит, кончили семинарию?

– Нет, семинарию-то я не кончил. Я кончил философский класс – так, знаете, это в прежние времена называлось – и перешёл в богословие; но тут, знаете, произошла одна неприятная история... Так, знаете, с отцом-инспектором не поладили, ну, и пришлось выйти. А тут дьяконское место подвернулось; я, знаете, женился и стал служить в приходе... А к математике я всегда склонность питал. А вот несколько лет назад распоряжение такое вышло, чтобы семинаристов, кончивших общеобразовательный курс, в университет с поверочным экзаменом принимать. Я и подумал: отчего ж бы мне не поступить? Общеобразовательный-то курс я окончил. Что ж такое, думаю, что на мне ряса, – это ничего. И обратился я по начальству, то есть, по духовному своему начальству. Спрашиваю: можно ли, дескать, мне в университет постучаться? Архирей к себе потребовал. Сперва, это, даже косо посмотрел на меня; думал, должно быть, Бог знает что такое; начал расспрашивать, что да как, да почему, да откуда такое желание и прочее. Я, известно, всё рассказал ему: вот, говорю, к математике всегда питал склонность, а теперь разрешение вышло, так вот я и вздумал. «А для какой цели?» – спрашивает преосвященный. – «А для той, говорю, цели, ваше преосвященство, чтобы, во-первых, знать, а во-вторых, в духовно-учебных заведениях математику буду преподавать. У нас ведь своих преподавателей математики нет, наши академики по этой части никуда не годятся. Задачи на уравнение с тремя неизвестными решить не могут, а уж бином Ньютона им кажется таким же чудовищем, как сам Вельзевул... Так вот оно и приятнее, когда свой человек, духовный, будет в духовном заведении математику преподавать. А то ведь всегда приходится приглашать из гимназий да из других светских школ...» Подумал преосвященный, подумал и сказал: «что ж, говорит, это

справедливо, это в самом деле приятно. Ну, говорит, иди с миром и поступай в университет, а только как же, говорит, ты с приходом будешь?» Я говорю, что приход, известно, придётся оставить. – «А семья? семья-то у тебя большая?» – «Жена, – говорю, – да трое детей». – «Что ж ты с ними делать будешь?» – «А жену с детьми, – говорю, – ваше преосвященство, к тестю пошлю, пускай тесть кормит их». – «А сам как проживёшь?» – «А сам как-нибудь пропитаюсь. У меня на подворье монах знакомый есть, вот я около этого монаха, ваше преосвященство, и буду кормиться. Ведь недолго, всего только четыре года». Ну, одним словом, архиерей благословил меня. Тогда я взял да и подал прошение, да и бумаги свои послал. Тут тоже сомнение было. Долго они мои бумаги рассматривали, потом с духовным начальством снеслись, да видят, что всё в порядке, философский класс кончил, значит, под правило подходит, – как тут отказать? – и не отказали, и даже особенную любезность сделали, – ответ прислали, что, мол, допущен к поверочному экзамену по русскому, латинскому и греческому языкам и по математике. Ну, вот я и приехал.

В это время мы подошли к аудитории, где производился экзамен по математике. Я указал ему на дверь. И он вошёл. Я, конечно, полный любопытства, последовал за ним.

Появление духовной особы в университетской аудитории произвело сенсацию. На скамьях было всего душ двадцать молодых людей. Один стоял у доски и усердно доказывал какую-то теорему, профессор сидел за столиком и слушал его очень невнимательно, по-видимому, совсем не придавая значения ни тому, что он говорил, ни самому экзамену. Экзамен вообще производился формально, наименьшей отметкой была тройка. Почти все, поступавшие в университет из семинаристов, избрали филологический или юридический факультеты, очень редко занимались естественными науками и почти никогда не дерзали избрать математический. Поэтому с ними были строги на экзаменах из латыни и греческого и смотрели сквозь пальцы на их слабые познания в математике. Им задавались совсем детские задачи, но случалось, что и перед ними они становились в тупик. Тогда профессор просто говорил: «ну, хорошо, довольно», и ставил тройку.

При нашем появлении в аудитории все обернулись к двери и долгим взглядом посмотрели на моего спутника. Профессор поднял голову, а стоявший у доски положил мел и оборвал свой ответ.

– Сядемте здесь, – тихонько сказал я батюшке и указал ему на место на скамье.

Батюшка сел, а я рядом с ним. Это сразу разочаровало всех. По-видимому, ожидали, что батюшка к кому-нибудь обратится с вопросом, выскажет какое-нибудь желание чем-нибудь проявить себя, так как странно было предполагать, что он явился в аудиторию ни за чем. Общее разочарование разделял, очевидно, и профессор. Он подождал минуты три, затем спровадил стоявшего у доски, поставив ему по этому случаю четвёрку, и, подойдя к нашей скамье, промолвил:

– Вам, батюшка, кого-нибудь надо?

Отец Эвменидов поднялся, почтительно приосанился и пригладил свои волосы.

– Я на экзамен пришёл, господин профессор! – ответил он.

– Ну, да, здесь идёт экзамен, – ответил профессор, – но вам кого-нибудь надо или вы просто хотите послушать?

– Нет, господин профессор, я сам для экзамена пришёл.

– Вы? Вы хотите держать экзамен? – уже с некоторым недоверием спросил профессор.

– Желаю, господин профессор, – ответил отец Эвменидов.

– Значит, вы поступаете в студенты?

– Точно. Подал прошение. Получил даже ответ, чтобы явиться на экзамен: вот я и явился.

– Да, вот что!.. – промолвил хотя и не вполне ещё доверчиво, но уже с некоторым примирением профессор. – Значит, вы поступаете в университет?.. Это, кажется, первый случай, что духовные лица делаются студентами.

– Этого не могу знать. Действительно, были затруднения... Я к преосвященному просьбу подавал... И мне разрешено.

– А на какой факультет?

– Желаю по математической части.

Профессор усмехнулся.

– Прекрасно, – сказал он. – Вы хотите держать экзамен. Ну-с, не угодно ли вам пожаловать к доске?

И он несколько отошёл от скамьи, как бы желая пропустить мимо себя отца Эвменидова.

Отец Эвменидов вышел из-за скамьи и направился к тому месту, где стояла доска. Профессор, глядя ему в спину, с лёгкой усмешкой смотрел на аудиторию, как бы заранее предвещая, что там, около доски, сейчас произойдёт что-то смешное. Никак не ожидал он, что этот человек с загорелым лицом, с длинными волосами, в длинной одежде с широкими рукавами, с таким простым деревенским видом, может обнаружить какие-нибудь познания в математике. Наверно, он подумал, что это – чудака, что на него напала блажь, что он не имеет ровно никакого представления о предстоящей ему задаче. Он пошёл вслед за Эвменидовым и занял своё место за столиком.

– Ну-с, извольте, батюшка, решить мне следующую задачу...

И он задал отцу Эвменидову какую-то детски простую задачу на уравнения.

Эвменидов записал на доске всё, что ему продиктовали, затем оглянулся и посмотрел на профессора.

– Это весьма легко, господин профессор! – сказал он. – Это я могу в уме решить...

– Ну, решите! – промолвил профессор.

– А вот сейчас.

Эвменидов с минуту подумал и даже пошептал губами, потом, как бы для памяти, написал на доске какую-то коротенькую формулу и затем объявил решение.

– Правильно! – сказал профессор. – Я вижу, батюшка, вы кое-что смыслите. А ну-ка, решите вот это! Уж это будет потруднее...

И он продиктовал нечто в самом деле чрезвычайно сложное, так что у остальных, сидевших на скамьях, тотчас же явилось глубокое сомнение в способности Эвменидова решить задачу. По крайней мере, далеко не все из них могли бы с уверенностью сказать это о себе.

Эвменидов записал.

– Ну, что ж, – сказал профессор, – берётесь?

– А почему ж нет? – просто отозвался батюшка. – Я решу.

И он начал усердно писать на доске алгебраические выкладки. Профессор чрезвычайно внимательно следил за его работой, а потом, сильно заинтересовавшись, встал и подошёл к нему.

– Верно, верно, – говорил он, видимо, стараясь поощрить его, – совершенно верно. Однако, признаюсь, я никак не ожидал, что вы, батюшка, такой математик.

– Я люблю математику, – сказал Эвменидов, не переставая в то же время делать свои вычисления.

– Да любить мало, надо ещё знать! – заметил профессор. – Вот и эти молодые люди, – прибавил он с иронической усмешкой, указывая на аудиторию, которая в общем дала ему не особенно высокое понятие о своих познаниях в математике, – эти молодые люди тоже наверно любят математику, но плохо знают...

Аудитория дружно засмеялась, а отец Эвменидов в это время кончил свою задачу и очень спокойно положил мел на место.

– Ну, батюшка, великолепно! Прошу вас извинить меня за сомнение! Признаюсь, это первый случай. Я думал, знаете, что духовные особы умеют только обедню служить, – вот

и ошибся. С удовольствием приветствую такого студента на математическом факультете, с искренним удовольствием! Вы и геометрию знаете?

– Как же не знать? Знаю. Я и по тригонометрии хорошо учился.

– Это удивительно. Где же это вы всему этому научились?..

– Да видите, господин профессор, это у нас в семинарии проходится. Оно, конечно, там на математику смотрят не строго, а даже очень мягко... Ну, а кто любит, – тот сам от себя пополняет... Вот я и пополнял...

– А вы давно из семинарии?

– Да уже лет, я полагаю, восемь будет.

– И до сих пор не забыли?

– Да я понемногу занимался... Так, знаете, между делом, между двумя трудами, иной раз и решишь задачку... У меня есть влечение... Хожу это себе иной раз по огороду или по палисаднику, а в голове у тебя какая-нибудь теорема сидит. Иной раз даже так случалось, что во время самой службы церковной, среди эктении, поймал себя на какой-нибудь задаче... Так, знаете, цифра сама в голову и лезет, и никак от неё не отобьёшься...

– У вас, значит, талант к математике...

– Не знаю, может, и талант...

– А вы извините меня, батюшка, я не то чтобы не верил вам, а так, очень уж мне любопытно посмотреть, как вы одну задачку решите. Попробуйте-ка вот это.

И профессор начал диктовать ему что-то такое, что показалось всей аудитории очень странным и новым. Отец Эвменидов записывал, но от времени до времени сомнительно поглядывал на профессора.

– Вы понимаете, в чём дело? – спросил профессор.

– Я, господин профессор, понимаю, только решить этого не могу... Это уже из высшей математики будет.

– А вы попробуйте.

– Я попробую. Я не то чтобы был совсем уже чужд, я и насчёт высшей математики кое-что прочитывал... И даже пробовал; только трудно... Знаете, на самом главном сбиваюсь.

– Ничего, ничего, вы начните, я вам помогать буду.

– Я бы так вот начал...

И Эвменидов начал решать задачу. Он, видимо, с большим усилием вдумывался в каждую букву, профессор подсказывал ему, и он потихоньку двигался дальше. Но вот он остановился, вынул из кармана платок и вытер вспотевшее лицо.

– Трудно, господин профессор, очень мне это трудно! – промолвил он и положил мел. – Уж чего не знаю, за то и не берусь...

– Это не обязательно, батюшка, это я так, полюбопытствовал... Да, у вас есть математические способности... Очень приятно будет работать с таким студентом, право... Я вам поставлю пять.

– Вот спасибо! – с искренним удовольствием промолвил Эвменидов, широко улыбнулся и поклонился профессору. – Значит, теперь я могу уходить?

– Да, теперь все уйдут, мы уж кончили экзамен.

Эвменидов ещё раз поклонился и пошёл на прежнее место. Профессор, захватив бумаги, в которых записывал отметки, и простившись со всеми, ушёл. Тотчас же Эвменидова, а вместе с ним и меня, окружила вся аудитория.

Все гурьбой вышли в коридор.

Здесь подобралась новая группа студентов, многие из старых. Все ужасно заинтересовались дьяконом, явившимся держать экзамен по математике.



Эвменидова расспрашивали, откуда он приехал, где учился, как живёт, есть ли у него жена и дети. Пока группа дошла до вестибюля, где висели пальто студентов, все перезнакомились с Эвменидовым, да кстати и между собой.

## II

– Ну, слава Тебе, Господи, – говорил Эвменидов, когда мы вышли во двор. При этом он почему-то больше обращался ко мне. – Слава Тебе, Господи, что поспел. Ведь еле-еле попал, последним пришлось держать... А профессор добрый... Разговорчивый такой. Теперь вот латынь ещё да греческий; греческий ещё как-никак, а латыни я боюсь, слаб я всегда был по этой части...

– Пустое! – успокоил его кто-то, – здесь нестрого экзаменуют...

– Да ведь кого не строго, а кого и строго... Вас много, ну к вам они уже пригляделись и так это незаметно одного за другим и пропускают, а я как появлюсь в рясе-то своей, так сейчас на меня особенное внимание обращают... Сейчас это и думают: ишь ведь он в рясе таких ещё у нас не бывало. И сомнение является, дескать, – где же ему, деревенскому дьякону, что-нибудь знать, ну и придирка пойдёт... Очень я опасаясь латыни...

– А вы, батюшка, куда же это поворачиваете? – спросили его студенты, когда мы вышли на улицу и вся группа повернула направо, а отец Эвменидов взял налево.

– А я к себе... – ответил Эвменидов.

– Да вы лучше с нами зайдите; тут есть трактирчик, мы там и пообедаем. Да и выпьем что-нибудь, вспырснем, знаете, благополучный исход экзаменов.

Эвменидов усмехнулся и покачал головой.

– Нет, оно, знаете, мне неприлично; я, хотя, может, и буду студентом, а всё ж таки сан этого не позволяет. Прощайте, господа; на латыни, может, увидимся... А когда латынь-то? – спросил он, вдруг вспомнив, что не знает этого.

Ему объяснили, что остальные экзамены назначены в последующие три дня.

– Ну, это слава Богу; значит, не задержусь здесь. А вы тоже в трактир? – спросил он меня.

– Нет, я могу пройтись с вами... Я недавно позавтракал, мне есть не хочется.

– Так пойдёмте. Вы мне про порядки здешние расскажите, а то я, знаете, так чувствую, словно в воду с головой окунулся... Я тут недалеко... Знаете Церковный переулок? Так вот!

– Это, кажется, близко, – ответил я, ещё не довольно хорошо знавший город.

Мы простились с остальными товарищами и пошли налево.

– Знаете, – говорил мне отец Эвменидов, – хотя, конечно, все товарищи одинаковы и я ровно никого не знаю, а всё же мне как-то к вам легче обращаться, потому вас я первого встретил. Вы мне и экзамен показали. Не знаю, как дальше будет, а теперь мне, знаете, трудновато.

– Да вас что собственно затрудняет? – спросил я.

– А то, что, первое дело – будущее ещё неизвестно, выдержи ли экзамен, или нет, кто его знает. Вот латынь меня может подбегорить.

– Нет, вы не бойтесь, – успокоил его я. – Так как вы поступаете на математический и получили хорошую отметку по математике, да ещё так отличил вас профессор, – то по остальным будут к вам снисходительны. Ведь для математики ни латынь, ни греческий не нужны.

– Ах, если бы так! А есть ещё и другое. Я, видите, ещё на приходе числюсь. Нельзя же было так, зря, отказаться и в заштат выйти. Вдруг экзамен не выдержишь, тогда без места останешься. Так вот я и числюсь, а настоятель у меня строгий. Старый человек, знаете, и старых понятий. И когда это я высказал ему своё желание поступить в университет, так он и руками на меня замахал и хотел даже епитимию мне назначить. «Я, – говорит, – тебя за такие мысли заставлю во время всенощной всенародно посреди церкви сто поклонов ударить». И как я ему ни толковал, что в этом моем желании нет никакого греха – не понял. И с тех пор стал ко мне

придираться. В прежнее время ничего, даже добр был ко мне, а как узнал, что я учиться хочу, да ещё в светском заведении, да ещё математике, так прямо на каждом шагу придирки строит. Пою я это на клиросе, и пою, как всегда: уж, конечно, за восемь лет-то я службу изучил, – а он из алтаря мне ворчит: «не так, – говорит, – поешь, это, – говорит, – оттого, что ты всё о математике думаешь...» И на каждом шагу всё не так да не так... «Вишь, – говорит, – тоже в учёные лезет, и не к лицу, – говорит, – это тебе, – какой же может быть учёный в рясе?» А я, право, не понимаю, отчего ряса мешает быть учёным человеком? И теперь я, как собрался держать экзамен, отпросился у него на несколько дней, а он опять строгости: «поезжай, – говорит, – поезжай, только ежели какая треба случится, я из твоего дохода штраф вычту». И это не то, чтобы шутка, а он таки вычтет. Странно даже, злоба в нём какая-то явилась против меня. Хотя, ей-ей, я никогда ему ничего не сделал, и жили мы всегда дружно. Вот что значит человек старых понятий, никак втолковать ему нельзя. Так вот и приходится торопиться. Я, если и примут меня в студенты, всё ж таки сперва на приход должен съездить, чтобы, как следует, по форме, настоятелю свою должность сдать и в заштат подать. Конечно, временно, пока кончу курс. И только, когда бумага получится, тогда могу приход оставить, а раньше никак нельзя. Настоятель мой целую бурю подымет. Вот тут и вертись.

– А вы теперь один приехали? – спросил я.

– Нет, не один; очень уж жена моя беспокоилась. Говорит, я здесь пять дней ни есть, ни спать не буду, всё мне будет казаться, что с тобой там какая-нибудь беда приключилась. Ну, вот, пришлось забрать жену и детей. Ещё слава Богу, что знакомый монах отыскался, так мы там на подворье и приютились. Ну, вот это, кажется, и есть мой переулок.

Я подтвердил. Мы действительно пришли, куда следует.

– Так вот тут в переулочке и подворье. Да вы не зайдёте ли? С женой познакомитесь и с монахом тоже; он славный.

Я охотно выразил желание зайти к нему. Меня очень интересовало посмотреть, как он живёт, какая у него жена и дети, да и монаха не прочь был я поглядеть. Я никогда ещё в жизни не сталкивался с монахами и не бывал ни в монастырях, ни в подворьях.

Мы повернули в узкий переулок и, пройдя десятков пять шагов, вошли в обширный двор, застроенный одноэтажными флигельками. Во дворе, по разным углам, на деревянных лесенках, которые вели на крылечки, сидели люди мирского вида. Очевидно, это были постояльцы. Среди них я не заметил ни одного монаха. Увидев духовную особу, в лице отца Эвменидова, они все почтительно встали и столь же почтительно пропустили нас мимо себя, когда мы входили в один из флигелей.

Пройдя сени, мы вошли в довольно большую комнату с тремя окнами во двор, обставленную так, как обставляются обыкновенно комнаты на постоялых дворах. Тут было две кровати, стол и несколько стульев. В углу висело множество икон без киотов и без рам. На стенах были приклеены, тоже без рам, картины, изображавшие сцены из жизни святых, но большею частью Афонскую гору с разных сторон. В комнате носился приятный запах кипариса. Довольно ещё молодая женщина сидела на кровати и, держа на руках девочку двух лет, убаюкивала её. Девочка спала. Двое других детей, постарше, стояли у подоконника и внимательно смотрели сквозь окно во двор.

– Ну, благодарение Создателю, – весело пробасил отец Эвменидов, обращаясь к жене. – Математику выдержал и студента с собой привёл. А я и фамилии-то вашей не знаю, – прибавил он, обратившись ко мне.

Я сказал свою фамилию и, подойдя к жене отца Эвменидова, подал ей руку. Она с большим трудом освободила правую руку из-под младенца и подала мне свою.

Это была женщина уже с утомлённым и несколько поношенным лицом, на котором отражались все невзгоды и заботы её жизни. Взгляд у неё был спокойный, уравновешенный. Радост-

ное известие, сообщённое отцом Эвменидовым, по-видимому, очень мало тронуло её. Когда она заговорила, то в тоне её голоса слышалось как бы некоторое недоверие к его планам.

– А вы разве не рады, что ваш муж выдержал экзамен? – спросил я, когда мы остались с нею вдвоём, так как отец Эвменидов отправился за чем-то к монаху.

– Нет, что ж... Отчего же? Оно бы хорошо, только выйдет ли что... Неизвестно! – каким-то старушечьим тоном промолвила она, и этот тон так мало гармонировал с её молодыми глазами.

– Отчего ж вы думаете, что не выйдет? – спросил я.

– Да никогда этого ещё не бывало. Не слышала я. Вот уж сколько лет живу на свете, а не слыхала. Что ж, теперь у нас, по крайности, приход есть. Доходы, конечно, небольшие, а всё же жить можно. А с этой учёностью, первое дело, приход потеряем... А там неизвестность... Ежели ничего не выйдет, так опять придётся ему лазать по консистории, да по благочинным, да архиерею в ноги кланяться. Пока ещё выйдет место!.. А я теперь должна на шее у родных сидеть. Да и ему трудно будет здесь жить, и от нас далеко, и средств своих у него никаких нет...

– Так ведь ваш муж может жить здесь вместе с монахами...

– А с какой стати ему на шее у монахов сидеть? Он им не родня... Нет, уж, право, не знаю, что тут хорошего...

– Значит, вы не одобряете его? Не поддерживаете?

– Да я что ж... Я ему ничего не говорю. Один раз только заикнулась, что, мол, надо сперва взвесить это да обдумать, – так он такие слова начал говорить, что мне даже страшно стало. «Вот, – говорит, – как ты на моё душевное стремление отвечаешь. Я, – говорит, – к высшему стремлюсь, а ты этого понимать не хочешь; я, говорит, в тебе, как в жене своей, как в друге, поддержки ищу, а ты меня, говорит, холодной водой окатила...» И до того расхотелся, что даже нехорошо ему сделалось и плакать стал. Уж я не рада была, что и сказала... И с тех пор ничего против него не говорю, – пусть делает, как знает. Ему же хуже будет...

В это время отец Эвменидов вернулся, но не один, а с монахом. Монах был ещё нестарый. Высокий, статный, довольно плотный, с красивым лицом, украшенным длинной, тёмной бородой, с большими спокойными глазами, с широким лбом, с матовым цветом лица, с длинными, волнистыми волосами, он сразу произвёл на меня чрезвычайно приятное впечатление. В особенности понравилось мне странное выражение его глаз: твёрдое и вместе с тем необыкновенно ласковое и как бы ко всему на свете доброжелательное.

Он подошёл ко мне с улыбкой и просто, по-светски, протянул мне руку.

– Очень приятно, очень приятно! Вот познакомьтесь с нами и будете у нас бывать. Я люблю молодых людей. Я люблю тех, которые наукам обучаются. Вот и наш отец дьякон задумал учиться. Что ж, это хорошо. В этом никакого греха нет... Учёность никому не мешает. У нас даже на Афоне есть глубоко-учёные люди... Один доктор есть, например... Очень учёный человек, и стихи пишет... Разумеется, духовного содержания... Они напечатаны, я когда-нибудь дам вам прочесть, непременно дам. Ну, что ж, отец дьякон, давайте угостим молодого человека. Уж вы извините, – обратился он ко мне, – у нас пища скудная, монашеская. А, впрочем, сыты бываем... Вот мы сейчас...

Он подошёл к двери, полуотворил её и промолвил громче обыкновенного:

– Евфимий, а Евфимий!..

– Я здесь, отец Мисаил! – откликнулся из глубины коридора молодой голос.

Через полминуты в комнате появился и сам Евфимий – совсем ещё молоденький послушник, в длинном подряснике, с засученными рукавами. Очевидно, он только что производил какую-нибудь домашнюю работу. Отец Мисаил обратился к нему.

– Ты, Евфимий, принеси-ка нам сюда чего-нибудь закусить. Да вина не забудь нашего, афонского... Вот вы, господин студент, наверно афонского вина не пробовали.

Евфимий исчез, а потом начал от времени до времени появляться, но уже не с пустыми руками, а с разными снадобьями, которые расставлял на столе. Тут была солёная рыба, без сомнения, не афонского происхождения, а прямо из рыбной лавки, паюсная икра, потом появились чёрные маслины с приправой из уксуса и прованского масла, присыпанные свежим зелёным луком. В заключение были принесены какие-то пирожки, тут же оказалась странного фасона бутылка, очевидно, с афонским вином, а в виде десерта были принесены орешки, относительно которых отец Мисаил прямо заявил, что они афонские.

– Ну, вот и закусим, – сказал отец Мисаил. – Да вы, может быть, водочку пьёте? – спросил он почему-то именно меня. – У нас и это можно, это не воспрещается. Это даже в монастырях разрешено: вино и сикера, – сикера ведь это и есть водка... Вот отец дьякон тоже, кажется, от сикеры не прочь... Евфимий, а принеси-ка сюда сикеру!

– Это что же, отец Мисаил? – с недоумением, хлопая глазами, спросил Евфимий.

– Ну, вот ты монах, а не знаешь. Ну, водку принеси. Там, в трапезной, на окне бутылочка стоит... Мы сами-то не пьём, – пояснил он мне, – а для приезжих, для наших почтенных гостей, держим.

Скоро Евфимий «сикеру» принёс и затем сам удалился. Жена отца Эвменидова уложила спящую девочку на кровать. Детям было выдано кушанье особо, и они смирно ели на подоконнике. А взрослые, в том числе и отец Мисаил, уселись за стол.

Я должен признаться, что редко мне случалось есть с таким аппетитом, как в этот раз. Все эти монашеские блюда, которыми, впрочем, как прибавлял отец Мисаил, они сыты бывают, показались мне необыкновенно вкусными. И даже «сикера», на которой был прилеплен обыкновенная этикетка водочного магазина, обладала каким-то особенно-приятным вкусом. Мне кажется, что виновник всего этого был отец Мисаил, который и своей фигурой, и удивительно счастливым видом, и приятным голосом, и ласковым взглядом придавал всему радостный колорит.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.